

ские прислужники не ошиблись, когда забаррикадировали перед ним путь в академики. Ну, что ж!.. Будущее человечество все равно поставит Горького выше многих нынешних «академиков».

Подпоручик Лебеда, попыхивая короткой трубкой, спокойно рассказывает мне:

— Надоело, понимаете ли, сидеть в окнах. Сил больше нет, любви к отечеству нет, ненависти к немцу нет — ничего нет. Пустота! Скука страшная. Недавно ездил в командировку в Ровно. Три ночи провел в самом дешевом, в самом грязном публичном доме, брал самых паскудных девок, чтобы заразиться сифилисом и уехать в околодок, отдохнуть хоть несколько месяцев.

— Каковы результаты?

— Ничего пока не видно. Каждый день себя осматриваю... и ни пятнышка. Не везет мне ни в карты, ни на баб и даже на сифилис не везет.

Он вздыхает.

— В следующий раз поеду, — говорит он после короткого молчания. — Прямо буду искать проститутку, которая в первом периоде болезни. — Второе заплачу, а достану. Силы воли у меня хватит: раз что решил — баста! Добьюсь...

— Вы бы лучше себя из револьвера слегка царапнули, коли так твердо решили, — советую я.

— Это не подходит. Я все обдумал. Легко ранишь — месяц продержат в дивизионном госпитале — и пожалте обратно в строй. Да и небезопасно это. Под суд за самострел отдавать начали, теперь строго. А насчет сифона



никто не сообразит... За это каторги не дадут и не разжалуют...

— Но вы подумайте о последствиях. Не так-то легко вылечить. Под старость у вас может провалиться нос, паралич нервной системы, паралич мозга...

— Чепуха, вольнопер!. Нео-сальварсан. Теперь сифилис не опаснее насморка...

Сказал и смотрит на меня дикими загадочными глазами, неестественно громко хохочет.

— Что вытарачил зенки, вольнопер? Удивительно, да? Ха-ха-ха-ха!..

Меня коробит.

Чувствую, краска заливает лицо.

Играя глазами, он говорит мне насмешливо:

— Ничего, не краснейте, пожалуйста, вы ведь не институтка из Смольного. Подождите, повоюем еще года два — дойдем и не до таких премудростей.

\*

— Вы говорите по-английски? — спрашивает меня ад'ютант батальонного командира.

— Так точно.

— К нам приехал полковник английской службы. Даем вечер. Многие офицеры полка не владеют английским языком. Вы приглашаетесь в качестве переводчика... на всякий случай. В восемь часов будьте в штабе полка.

— Слушаюсь, — говорю я, прикладывая руку к фуражке.

Все офицеры явились разодетыми, как на великосветский раут. В зале царила английская чопорность.



Дам нехватало. И какой же вечер без дам? Командир полка собрал со всего участка сестер милосердия. Говорят, даже «занял» всех хорошеньких у соседнего полка. Сестры, как могли, исполняли «обязанности» дам.

Подвыпившие офицеры напропалую ухаживали за сестрами и все время благодаря этому сбивались с английского тона.

Расторопные адъютанты экспромтом организовали «вечер английской поэзии и музыки».

Один из членов свиты английского полковника сел за рояль и мастерски исполнил какой-то шедевр модного английского композитора.

Завитый и припудренный адъютант полка с новеньким «Владимиром» на груди декламировал Шекспира на чистейшем английском языке.

Сестры и офицеры читали Байрона, Шелли, Оскара Уайльда, Мильтона. Играли и пели.

Артистам дружно аплодировали.

...Пили за здоровье английского короля.

Начались танцы.

Незаметно выбираюсь на веранду. Моя помощь в зале не нужна.

Очевидно, адъютант просто хотел оказать мне «любезность», приглашая меня в качестве переводчика.

С наслаждением вдыхаю в себя свежий воздух. В предутренней голубизне весеннего неба ярко сверкают лучистые звезды, безучастные к тому, что происходит на земле.

Где-то в направлении к востоку, как потревоженный зверь, глухо, настойчиво, грозно урчат пушки, ползут багряно-красные и желтые отвесы прожекторов.



В зале, опевая ночь, полковой оркестр наигрывает меланхолически-грустный и в то же время веселый английский «гимн».

Далеко до Типперери, далеко.  
Расставаться с милой Мэри не легко.

Сквозь вздохи музыки прорываются мелодичный звон разбиваемых бокалов и топот пьяных ног.

Ко мне подходит молоденькая сестра с растрепанными волосами.

— Почему вольнопер удрал из залы? Ему скучно? Да? Мне тоже скучно. Я сегодня пьяненькая и... дурная. Приласкайте меня немножко, и скука пройдет.

Она берет мою руку и тихо гладит ее своей теплой пухлой ладонью...

Мимо нас пробирается в сад высокий кавалергард с сестрой. Оба пошатываются. Он обнял ее за талию и вполголоса мурлычет какую-то песенку.

Спутница еще плотнее прижимается к нему и отвечает низким, приглушенным смехом. На лестнице он целует ее в губы долгим поцелуем и затем, подняв на руки, несет в кусты... Она притворно повизгивает и колотит его ладонью по шее.

Я сижу на веранде, ожидая солнечного восхода, и с грустью думаю, что вот в эти минуты, когда мы в зали- том огнями и роскошно декорированном зале восторга- лись музыкой, снаряды несли кому-то неотвратимую, ко- роткую и мучительную смерть. Те, которые попали се- годня в зону обстрела, уже никогда не услышат англий- ских поэтов, никогда...



В разрушенном фольварке случайно нашел в грудѣ мусора, перебитой посуды и мебели два тома «Войны и мира» Л. Толстого. Перечитываю в пятый раз.

Во всей мировой литературе нет ничего даже приблизительно равного этому произведению. Бессмысленность войны показана с бесподобным мастерством... Да, мы, Россия, можем гордиться Толстым.

Но почему же этот роман не вызвал у людей отвращения к войне?

Ведь воюем снова. Офицеры всех воюющих армий, министры всех воюющих и подстрекающих к войне государств, несомненно, читали Толстого, но это ничуть не изменило их взглядов на положение вещей.

И война современная в тысячи раз ужаснее той, которую описывал Толстой.

Последние месяцы меня преследовала надоедливая мысль: мне хотелось написать небольшой роман с анти-милитаристической тенденцией. Я хотел вложить в свой роман все виденное и передуманное в окопах и походах...

Но сегодня эта мысль о сочинении правоучительного романа как-то сразу выветрилась и, думаю, навсегда.

И погромче нас были витии,  
Да не сделали пользы пером,  
Дураков не убавим в России,  
А на умных тоску наведем.

Но Толстого читает не только Россия, его знает весь мир, он переведен на пятьдесят языков, в миллионах экземпляров гуляет его «Война и Мир» по Европе, но не убавилось от этого число дураков ни в России, ни на Западе, ни на Востоке.



Дело, значит, не в пропаганде словом, а в силе, которая солому ломит. Толстой—Толстым, а война—войной.

\*

Скука и роковая обреченность, нависшая над окнами, толкают людей на странные действия.

Одни доходят до садизма и сутками добровольно сидят где-нибудь в бойнице, не спуская пальца с взведенного курка: чуть где покажется голова или рука немца—берут его на мушку и убивают. Такие типы есть в каждом батальоне.

Другие выкидывают веселые номера, сопряженные с громадным риском для себя.

Вчера ночью рядовой Малина ползком пробрался без ведома ротного к немецким окопам, привязал за их проволочные заграждения телефонный кабель.

Самое легкое прикосновение к проволоке приводит в действие сигнальные звонки.

Малина, идиотски улыбаясь и пыхтя от наслаждения, дергает кабель и производит в немецких окопах настоящей переполох. Ночь темная и ветреная. Немцы вообразили, что мы подобрались к их окопам и режем проволоку.

В небо метнулись дрожащие лучи прожекторов. Упали на землю, отыскивая затаившегося коварного врага. Отчетливо слышны свистки, топот ног, слова команды.

Через минуту противник открывает ураганный огонь из всех своих пулеметов, бомбометов и винтовок. В слепой ярости бьет до самого рассвета, не давая нам заснуть.

Мы сидим неподвижно в блиндажах, посмеиваясь над наивностью противника.



— Надули!

Если близко от блиндажа падает бомба — с замиранием сердца ждем взрыва, высчитывая секунды, и каждый думает: «Не в этой ли бомбе моя смерть?»

Когда бомба, разрываясь, оставляет нас в живых, мы принимаемся ругать Малину, который растравил «немца».

Чтобы скрыть следы своего «преступления», Малина выкинул конец кабеля за бруствер.

Но ротному кто-то сообщил по секрету. За ночь на участке батальона из строя выбыло пять человек убитыми и девять ранеными.

Говорят, что ротный, вызвав к себе в землянку Малину, несколькими ударами кулака раскровянил ему лицо.

Малина ходит с припухшей левой щекой и всем весело подмигивает:

— Знай нашинских, скопских.

Малина — герой теперь. К нему относятся с уважением. О нем будет знать вся дивизия.

•

На других фронтах начались отступления и наступления. Скоро очередь за нами.

Ждем приказа.

Немецкий аэроплан, подбитый нашей артиллерией, снизился в междуокопном пространстве и, трепыхнувшись несколько раз, подобно раненой птице, плотно прилип к земле. Пилот и механик, пытавшиеся бежать, убиты нашими стрелками.

В течение недели этот аэроплан является центром внимания обеих воюющих сторон. О падении самолета



в тот же час полетели соответствующие эстафеты по всем инстанциям.

Наши «начальники» дали строгий приказ: «подбитый артиллерийским огнем аэроплан является трофеем, который во что бы то ни стало нужно «достать» и сдать «по назначению».

Но достать аэроплан, который находится на таком же расстоянии от наших окопов, как и от немецких, немножко труднее, чем написать приказ.

Немцы, вероятно, получили от своего начальства такое же задание.

И в течение недели ночью и днем только тем и занимаемся, что достаем подбитую птицу.

Немцы хотят привязать к самолету канат и утащить его к себе; мы намираем на этот же способ.

К самолету, вылезая из окопов, ползут по изуродованному полю одинокие фигуры смельчаков с канатами за поясным ремнем; ползут бесшумно, извиваясь как змеи, плотно прижимаясь к земле... На каждого смельчака из тысячи винтовок глядит смерть. Прежде, чем он успеет подползти к раненой птице и «насыпать ей соли на хвост», меткая пуля прибывает его к земле, и он сам становится «трофеем».

За неделю на подступах к самолету выросли горки наших и немецких трупов. Раненые отчаянно вопят, но помощи им подать нельзя. О них стараются не думать. Нужно выполнить приказ, остальное — необходимые «издержки производства».

От трупов ползет зловоние, которое отравляет каждую секунду существования.



Всем надоело нюхать гниль и трупную вонь. Командиры участков объявили «перемирие».

Стрельбу прекратили, разобрали трупы, унесли раненых.

К самолету спокойно подошли одновременно наши и немецкий солдаты с канатами в руках и привязали.

Был дан трехминутный срок.

Немцы потянули самолет к себе, мы — к себе.

Это было состязание в силе и ловкости. Тянули долго с переменным успехом.

Аэроплан, кряхтя и подпрыгивая, передвигался от наших окопов к немецким и обратно.

Наконец его разорвали. Немцам достался мотор, нам — крыло с помятым кузовом. Наше начальство и крылу радуется: «все же трофей».

За него кто-то получит повышение в чине, кто-то благодарность в приказе, кто-то попадет на страницы печати, кто-то получит блестящие побрякушки, именуемые крестиками «за храбрость» и орденами.

И за него же... легло больше ста человек безымянных русских и немецких солдат.

\*

Немцы последнее время усиленно применяют удушливые газы. Кажется, предстоящая летняя кампания пройдет под знаком газовых волн и химических снарядов.

О газах у нас масса разговоров. И, как везде и во всем — от безделья — к ним приплетается всякая чертовщина.

По окопам ползут фантастические слухи о каких-то баллонах, убивающих сразу целый корпус солдат.



И я вижу по глазам рассказчиков: в эти баллоны верят. Слухи сеют панику, деморализуют армию.

Нас усиленно тренируют на газовом деле. Знакомят с различными образцами масок, читают лекции.

На-днях загоняли в масках «нюхать газы» в громадную брезентовую палатку.

Газовая станция-палатка внушала стрелкам суеверный ужас.

Входили в палатку с трясущимися руками, с дрожащей нижней челюстью.

— Заходи, заходи, — покрикивал фельдфебель. — Не в застенки идете, здесь все по науке налажено.

Не знаю, сколько минут мы пробыли в этой «пробирной» палатке. Казалось, очень долго.

Десять человек «занюхались» и упали в обморок. Их вынесли на руках. Одни неумело надели маски, у других они оказались прорванными, неисправными. А перед входом в палатку маски осматривали и нашли все в порядке.

\*

— Пошехонцы мы, — убежденно говорит молодой прапорщик Мулин, — шагая со мной рядом по ходу сообщения.

— В каком смысле, ваше благородие?

Мой вопрос остается без ответа.

— В трех соснах путаемся. Куда повернут наши оглобли, туда и поперем. А зачем? Для чего? Этого никто толком не знает — ни командир, ни солдаты. Где-то там, в высших сферах — завтра решат, что нам надо воевать не с Германией, а с Францией, повернут наши оглобли на



французов, и мы двинемся без размышлений. Нет у нас ни цели, ни понимания смысла событий. И нет у нас ни злобы против немцев, ни любви к союзникам...

Желая подлить масла в огонь, я говорю:

— А вы внимательнее читайте газеты. Там все ясно.

Он останавливается полуоборотом ко мне. Закругленные глаза его искрятся злобой.

— Я совсем не читаю газет и вам не советую.

— Почему?

— Сплошное вранье! Глупость! Взяли тоже моду поносить немецкую культуру, технику, искусство, все. А кто шумит? Купчишки наши, биржевые шулера, инженерешки. Немцы этой касте действительно были опасными конкурентами.

Кричат о возрождении освободившейся от немецкого засилья промышленности.

А возьмите ручные гранаты русского изделия! Стоят они втрое дороже немецких, а поражаемость в тридцать раз меньше. Но все-таки свое. Как же не кичится? И так везде, во всем. Плакать бы надо от таких «успехов», а не радоваться.

\*

Вывели на небольшую долину на опушке леса. Рассыпались в цепь.

С надветренной стороны пустили газы.

Очередной практический урок.

Лежим в масках и нюхаем.

Это напоминает восточную кофейню, где тысячи человек безмолвно, сосредоточенно тянут гашиш, опиум, нюхают кокаин,



Дышать в маске трудно. От напряжения стучит в висках и в груди, в затылке прыгает колющая страшная боль. Некоторые не выдерживают, сбрасывают маску и, не слушая команды, подгоняемые страхом смерти, бегут против ветра на бугор, где услужливые химики разложили свой смертоносный товар.

Но смерть быстрее людей.

Падают, не добегая до спасительного бугра. Судорожно царапают рыхлую землю скрюченными в предсмертной судороге пальцами. Жадно глотают раскрытыми ртами отравленный воздух.

Санитары в масках бегут на помощь. Мгновенно раскисшие тела качаются на походных носилках. Сквозь брызги слюны и кровавой пены с воспаленных губ слетают проклятия и дергающие за нервы стоны.

Ругают химиков за изобретенные газы и за плохо приспособленные противогазовые маски, ругают бога, ругают начальство.

Случайно попал в караул на дивизионную гауптвахту. Мрачная, вонючая, покрытая плесенью землянка. На пятидесяти квадратных саженях этой тюрьмы размещено пятьдесят восемь арестованных.

Босые, грязные, со спутанными волосами, истомленные голодом и отсутствием воздуха, они всем своим видом кричат и протестуют против войны.

Кто они?

Мародеры, злостные дезертиры, социалисты, агитирующие в окопах против войны, просто «вольные» граждане, заподозренные в шпионаже.



Многих держат незаконно. С голодовкой не считаются. Прогулок не дают. Да и о каком законе может идти речь на фронте? Каждый командир полка на своем участке — царь, бог и законодатель. Он может засадить под замок в землянку сотню мирных жителей, может по одному подозрению в пособничестве врагу выжечь целую деревню, расстрелять десяток невинных людей, и никто не потребует у него отчета в этих поступках.

Оружие и сознание безнаказанности опьяняют людей. Умственные дегенераты, в мирное время беззаботно бречавшие шпорами по скверам или стоявшие за прилавками, теперь, попав в прифронтовую полосу, возомнили себя Соломонами и проявляют уйму энергии в деле выискивания шпионов, изменников, заговорщиков. Вмешиваются решительно во все. Терроризируют мирное население. Плюют на этику, на право, на совесть, на здравый смысл...

\*

Голод. Пайки все уменьшают.

Наши солдаты ходят побираться в близлежащие деревни. А деревни разграблены дотла, жители сами голодают. Женщины-матери и девушки-подростки отдаются за краюху хлеба, за котелок жесткой солдатской каши.

Артиллеристы и кавалеристы живут всегда в тылу. Обеспечены лучше, одеты чище, землянки у них аккуратненькие, с деревянными полами, с оконцами.

Пехотинцы завидуют им. Ходят к ним в гости, приносят кусочки темного подмоченного сахара, пригорелые ошметки каши, заплесневелые корочки хлеба, не обглоданные кости,



И чем сильнее чувствуется недостаток продуктов и обмундирования, тем нахальнее и откровеннее идет воровство и хищение.

\*

Утомление войной, кажется, лучше всего измеряется количеством пленных.

Наши уходят к немцам при всяком удобном случае целыми взводами.

Иногда, отправившись на разведку, команда убивает офицера, бросает оружие и, натолкнувшись на противника, сдается в плен.

Немцы в долгу не остаются. По всем прифронтовым дорогам плетутся вереницы пленных, сопровождаемые незначительным конвоем.

Особенно много идет в плен чехов, мадьяр, австрийцев, украинцев.

Самое комическое в этом закономерном пленении — то, что каждую партию уставших от кровопролития, возненавидевших войну или природных трусов, добровольно пришедших в плен, наши командиры рассматривают как трофеи:

«После упорного боя захвачено в плен», — пишут в донесениях. И за это получают награды, крестики, хвастают.

Чем больше я присматриваюсь к действиям военных профессионалов, к их жизни на фронте, к их психологии, тем сильнее я их ненавижу.

Война для известной части кадрового офицерства — это то же, что необыкновенный урожай для мужика, выпадающий раз в двадцать лет.



Мужик в такой год, естественно, чувствует себя героем, он на седьмом небе от счастья.

Самострелы утихли. «За неосторожное обращение с оружием, следствием коего явилось легкое ранение с повреждением верхних конечностей, делающим потерпевшего неспособным к военной службе», многих осудили на каторгу, многих расстреляли без суда.

Чтобы скрыть следы самострела, стрелки обертывали руку, в которую намерены были стрелять, мокрой портянкой.

Портянка предохраняет кожу от ожога и порохового налета.

И это расшифровали.

Теперь выдумали новый способ: калечат руки капсюлями ручных гранат.

Стоит только зажать капсюль в руке и стукнуть кулаком о твердое — легкий взрыв, и ладонь разлетается в куски; пальцы, державшие капсюль, трепыхаются на земле.

Перед каждым наступлением выдают на руки по две гранаты с капсюлями.

И перед каждым наступлением из роты выбывает восемь—десять стрелков, искалеченных капсюлями.

Батальонный адъютант, разбирая гранату, ругал русских ученых:

— Хвастают: «мы да мы», а ничего дельного изобрести не могут. Посмотрите на русскую гранату: ведь это—не граната, а средство для освобождения от военной службы. Еще два года войны—и все наши солдаты будут



беспальми... И судить их за это нельзя. А попробуйте вы ранить себя немецкой или английской гранатой...



Третий день под ряд отбиваем немецкие атаки. Осатанелое солнце так некстати обдаёт нас снопами испепеляющего зноя.

Воды под рукой нет, а хочется смертельно пить. Курева тоже нет.

Немцы, как всегда, параллельно с атаками ведут усиленный обстрел нашего тыла.

Третья линия на этот раз пострадала не менее первой. Ее сравнивали с землей. Все телефоны, связывающие нас со штабами, оборваны.

Шесть раз подбегали скованные железной дисциплиной загорелые усатые люди к нашим окопам и, изрешеченные, смятые огнем пулеметов и винтовок, шесть раз они откатывались обратно, устилая трупами каждую пядь земли.

Раненые, забыв дисциплину и всякие понятия о чести родины, мундира, громко шлют кому-то проклятия.

Кого проклинают?

Нас? Своих командиров? Правительство?

Вероятно, всех. Все виноваты.

Живые уходят в свои окопы.

Раненые в междуокопном пространстве зовут на помощь своих друзей, зовут и врагов, но ни те, ни другие не идут их подбирать...

И вот уже третьи сутки тяжело раненые лежат перед нашими окопами рядом с убитыми, с разлагающимися и гниющими мешками мяса. Эту картину я вижу на



фронте не впервые, но она всегда производит одинаково кошмарное впечатление.

Прапорщик Горбоносков, нежный, впечатлительный юноша, только-что прибывший из училища в шестую роту, надел маску, чтобы спастись от трупного запаха. Над ним смеются и офицеры и солдаты, хотя сами поминутно сплевывают и ругаются матом в знак протеста против того же трупного запаха.

Очевидно, матерщина предохраняет от заразы не хуже маски.

•

Когда немцы, обессиленные атаками, смолкли, мы получили запоздавший приказ: «приготовиться к контратаке».

За три дня непрерывной пальбы и нервного напряжения мы устали, вероятно, не меньше немцев, которые нас атаковали.

Новички бодрятся, улыбаются. В грубых шутках стараются утомить надвигающуюся на сознание жуть предстоящего «дела».

«Старики» держатся спокойнее.

Но движения людей, не спавших три ночи, вялы, угловаты, насильственны. Люди напоминают лунатиков. Кажется, все плюнут на распоряжение начальства, упадут на землю и заснут долгим безмятежным умиротворяющим сном, подложив под голову грязную скатку шинели.

Взводные механически пересчитывают людей, приводят в боевую готовность взводы, инструктируют отделенных, стрелков, но делают это без подема, как давно опостылевшее, никому ненужное дело.



На лицах взводных та же апатия ко всему предстоящему, что и у рядовых стрелков.

\*

Атаковали немцев в течение целого дня с таким же успехом, как они нас в предыдущий день.

Только немцы за три дня потеряли меньше людей, чем мы за один день. В этом вся разница.

Уцелевший каким-то чудом Хрущов, показывая мне продырявленную фуражку, шутит:

— Мы, русские, не чета немцам: натура у нас широкая, оттого и больше полегло наших.

Кто-то возражает ему:

— Какая, батенька, натура: просто немцы немного умнее нас и лучше вооружены. В этом весь секрет.

Если мне, как участнику только-что закончившегося боя, предложат сейчас написать хотя бы схематическую картину его — не смогу. И ни один из участников не сделает этого.

Дать реальную, фотографически верную картину невозможно.

Мысли придавлены чем-то бесформенным и тяжелым. Некогда думать, осмысливать ход вещей.

Я совершенно не видел или уже забыл, что делалось вокруг меня.

Помню, как во сне, что бежали вперед, не ощущая под ногами земли, и дико орали. Падали под свинцовый хохот пулеметов в ямы, хоронились за теплые сочившиеся кровью трупы только-что павших товарищей; когда пулеметчик менял ленту, вставали и с криком бежали вперед.



Выпученные от ужаса глаза засыпало взбитой землей, дымом, они слипались от адской усталости; хотелось спать.

Мы добежали до самой проволоки. Рвали ее руками, сбивали прикладами. Резали ножницами, точно хотели выместить на этой проволоке свои обиды и муки.

Проволока лопалась от напора навалившихся на нее с остервенением и животным ревом тел, тонко звенела и выла.

— Ууу! Ааа! Ооо!..

А со стороны противника медленно наползало серо-зеленое полукольцо.

Все ближе и ближе злобное харканье, прерывистый грохот пулеметных раскатов и частые нервные вздохи винтовок.

Огненный град свинца и железа с гулким рокотанием стелется по самой земле, испепеляя все движущееся и живое.

Сколько времени мы пробыли у заграждения? Не помню, не знаю. Может быть, прошли секунды, может быть, минуты.

Но скоро у проволоки образовались настилы пробуравленных, искромсанных тел...

Немцы незаметно выросли по ту сторону проволоки. Они расстреливали нас в упор, но мы, увлеченные истязанием заграждений, не обращали внимания на пули. В эти минуты мы впали в идиотизм.

Отступили тогда, когда немецкая артиллерия ударила шрапнелью в лоб, поражая своих и наших.

\*



Кончился бой.

Перед последней атакой, пользуясь попутным ветром, немцы пустили газы... Отравили раненых — наших и своих.

Шинели и гимнастерки от газов покрылись желтым налетом.

Медные пуговицы позеленели.

Сиротливо свернулась и поблекла кудрявая листва на кустах и деревьях.

Мертво и жутко.

Все кругом тщательно вылизала своим прокаженным языком «матушка-смерть».

Вот когда начинается настоящая война!

Вильгельм сказал:

— Войну выиграет тот, у кого крепче нервы.

Нервы у офицеров и химиков, пустивших газы на раненых — в том числе на своих — надо полагать, крепкие...

Да нервы ли это? Может быть, просто помешательство? Ведь можно же сойти с ума за последние три дня.

Вчера кто-то в немецких окопах пел петухом.

А многие из наших состарились и поседели на моих глазах.

Тупоумный стрелок Маврин, по прозвищу Чурилко-Обедало, радостно говорит:

— Ох, поедим теперича, робя. Продукты выписаны на эти дни на весь полк, а много ли народу осталось?..

Маврин от удовольствия сладострастно прищелкивает языком.

\*



Нас миллионы. И стоит только нам захотеть, чтобы войны не было и ее не будет в тот же день.

Ведь стоит только повернуть оружие против тех, кто нас натравляет друг на друга, и конец этому омерзительному кровавому делу.

Их, наших министров, генералов, попов и просто патриотов — поставщиков и ростовщиков, нагревающих руки в крови народа — даже убивать не надо, даже руки пачкать о них не надо. Стоит нам, миллионам, массе вооруженных людей, только цыкнуть на них погрознее, и вся их спесь испарится в одну секунду.

Стоит только дерзнуть...

Но мы не дерзаем. Нам недостает самого важного — организации.

\*

Утро ясное и звонкое.

Небо, казавшееся вчера, в черных провалах взрывов и земляных столбов, таким озлобленно-суровым и мрачным, сегодня вольно и радостно сверкает любовным, несказанно-пленительным розовым отливом.

Сладко дремлет остывшая за ночь земля. С тихим, еле уловимым хрустом распрямляются примятые травы и цветы.

В кустах, как в доброе мирное время, наяривают звонкоголосые птицы, приветствуя наступающий день.

Хороним павших товарищей.

Из прибывшего накануне в наш полк пополнения почти ничего не осталось.

Все эти рослые, мускулистые, веселые парни превратились в обезображенные, неузнаваемые куски мяса.



Многие упали грудью на проволоку и, подрезанные на ней пулеметным огнем, висят сплошной темнотой лентой. Издали их никак нельзя принять за трупы. Кажется, что кто-то развесил на проволоку сушить половики или цветное белье.

Ветер раскачивает тела, и обильно смоченная кровью проволока скрипит, звенит и стонет, содрогаясь от совершающегося кругом злодейства.

Сколько товарищей выбыло из жизни! И пораженцы, и оборонцы — все лежат рядышком, скрючившись на земле, все висят на одной проволоке.

Они ушли — и нет для них возврата.

От них остался только ряд имен.

Но и имена их будут скоро-скоро всеми забыты. Только матери-старушки изредка где-нибудь будут вспоминать свое безвременно утерянное дитя.

\*

Трупы закопали слишком мелко.

Все были переутомлены, не хотелось копать могилы, таскать землю на курган.

Земля на могилах осела и провалилась. В провалах выглядывают отвратительные, облезлые, кипящие могильными червями черепа... Выставились синие костяки ног, рук, оскалы зубов...

Когда ветер дует в нашу сторону, нет сил терпеть: мы задыхаемся от зловония. Зловоние убивает не только аппетит, но и сон. Когда ветер дует в сторону «колбасников», наши стрелки подпрыгивают от радости. Эгоизм здесь проявляется без стеснения.

\*



Отступаем. Скорость отступления измеряется резкостью наших ног и напором немецкой армии.

На мостах и переправах, на узких шоссе, пересекающих болота, давка, драки. В моменты паники командиры отдельных частей превращаются в средневековых феодалных князьков и не подчиняются никаким инструкциям.

Многие ушли в плен, воспользовавшись суматохой. Самое комичное, что видел я на этом перевале — «отступление» двух священников.

Офицеры бросили их на произвол судьбы. Они упростили проезжавшего кашевара вывезти их из линии «огня». Кашевар усадил одного огромного рыжего священника на спину запряженной в походную кухню лошади, а другого в самую кухню, где еще были остатки супа.

С таким комфортом служители культа скакали сломя голову сорок верст.

Загнанная обозная кляча упала за полверсты до назначенного бивака.

Рыжий батюшка, восседавший верхом, долго растирал, лежа на траве, живот и ноги.

— Кишки у него, слышь, переболтало, потому без седла ехал, — острили солдаты, обступившие его со всех сторон.

Другой священник вылез из кухни в самом непрезентабельном виде: все одеяние его и густые роскошные, цвета яровой соломы волосы были обильно смочены остатками супа, в бороде бирюзой понатыкана крупа. Суп на рытвинах плескался в кухне и обдавал его с головы до пят. А остановиться и вычерпать злополучный



суп под огнем противника некогда. Перепуганный кашевар гнал, что есть мочи.

Кашевара батальонный лично благодарил за «героический подвиг» и обещал представить к «георгию».

В тыловых учреждениях и организациях появились драматические, балетные, оперные и цирковые труппы, хоровые капеллы, струнные оркестры.

Это «соль земли» — российская интеллигенция — спасает отечество. Вокруг штабов и тыловых частей в прифронтовой полосе настоящие ярмарки.

Все актеры академических и анемических театров, подлежащие по своему возрасту мобилизации, и просто интеллигенты, не имеющие ни голоса, ни слуха, не умеющие ходить по сцене, превратились в военных актеров. Боязнь попасть в окопы у этих людей настолько сильна, что они выдумывают всяческие театральные комбинации, чтобы окопаться там, где не свистят пули.

Они из кожи лезут, доказывая, что искусство — подлинное, святое искусство, носителями которого они являются — лучшее средство для поддержания духа доблестной русской армии. Они клянутся всеми святыми, что без театра не может и не должен существовать ни один тыловой полк, ни один уважающий себя штаб.

Подличают, дают взятки деньгами, телом своих жен и любовниц, чтобы только спастись от серой шинели, от походного мешка и от первой линии.

А кончится война — все эти слюнтяи, шкурники, подхалимы, все эти многоликие Добчинские и Бобчинские мещанства нашей эпохи десятки лет будут хвастать



своими подвигами и будут рассказывать военные анекдоты, вывезенные с «поля брани»...

«И мы пахали».

\*

Приехал из отпуска ефрейтор Глоба.

Давал нам «интервью».

— Кончится война, братцы, хуч домой не вертайся. Такое расстройство жизни пошло.

Коней хороших отобрали в казну.

Коров тоже отбирают...

Бабы и девки с ума посходили. Отдаются направо и налево.

Все равно, говорят, пропадать: мужиков перебьют на войне всех до единого.

Девки на инвалидов, на стариков лезут, снохачество развелось в каждой деревне.

Солдаткам старшина из волости пленных австрийцев дает для работы. Австриец днем пашет, а ночью солдатке ребят делает. Гуляют сподряд шельмы; брюхатые ходят и никаких не признают... Австрийцы жирные, от'елись у наших баб. Последнее им отдают. Девки дерутся из-за пленных.

Богатые мужики от войны на заводах в городе спасаются, на оборону работают. Лошадей у богачей не взяли, откупились взятками. Дохтура и фершала — все берут, кто вареным, кто жареным, кто сырым. Весь народ с ума сошел.

Солдаты слушали Глобу, опутив глаза, и трудно было сказать, о чем думают.

\*



Ночевали в полуразрушенном местечке. Оно было когда-то богатым. Об этом свидетельствует и грандиозная церковь и не один десяток солидных домов с большими фруктовыми садами. Но теперь в нем ничего нельзя купить. Оно несколько раз в течение войны попадало под обстрел, переходило из рук в руки. Разрушали и грабили обе армии.

Наше отделение разместилось у одинокого помещика, пана Згуро. Он — что-то среднее между чехом и поляком, но тяготеет к Польше. Его семья, состоящая из жены и двух дочерей, более года тому назад эвакуировалась в Россию.

Он остался в своем гнезде с кривым угрюмым работником и со старухой-кухаркой, чтобы охранять имущество и сад. И в его просторном разграбленном войсками доме царят тяжелая скука и пустота.

Офицеры не любят останавливаться на постой в домах, где нет молодых женщин.

Дом Згуро остался нам.

Хозяин угостил нас прошлогодней, уже проросшей картошкой и сушеными яблоками. Яблоки — единственное, что уцелело от грабежа. В буфете у него нет ни одной серебряной ложки.

Згуро, по его словам, вначале войны был ярым патриотом. Теперь он «разочаровался» в войне и озлоблен на всех людей вообще.

\*

Двенадцать часов ночи. Прощаюсь с хозяином. Мне не хочется спать. В комнатах душно.

С разрешения хозяина отправляюсь погулять в его саду.



Полная луна заливает сад сверкающим синим сиянием.

Кроны пахучих яблонь качаются в ленивых зигзагах феерической дымки, поднимающейся от земли.

Местечко спит. Смолк солдатский гомон. Только в редких окнах еще мерцают запоздалые огоньки.

В соседнем помещичьем доме, где остановились офицеры первого батальона, не спят. Кто-то, должно быть, пьяный, однообразно тренькает на пианино. Разбитый инструмент под неопытной рукой музыканта издает неприятные харкающие звуки. Согласованный стрекот кузнечиков рядом с ним кажется божественной музыкой.

Я, опустившись на траву, вытягиваюсь, закрываю глаза и ощущаю во всем теле радостное успокоение.

В отдыхающем мозгу слабо маячат пережитые и воображаемые видения.

В соседнем саду послышались густые мужские голоса, заглушаемые волнующим смехом женщин.

Кто-то, отчаянно фальшивя, запел испанскую серенаду. Гитара аккомпанирует.

В одно из отверстий плетня пролезла парочка и, нежно воркуя, направилась в мою сторону.

Девушка, высокая и стройная, в белом платье с открытой головой. Фигура ее спутника кажется мне знакомой, но лицо остается в тени, и я не могу хорошенько разглядеть его.

Шагах в десяти от меня они остановились. Тела их изогнулись и слились в одно... Прозвучал приглушенно поцелуй.

— Сядем здесь, панна Зося, — просительно говорит мужчина.



— Хорошо, сядем, — отвечает просто девушка. — Только дайте честное слово, что не будете безобразничать.

— Даю, — радостно бормочет мужчина, увлекая девушку с собой на траву.

Хочу встать и уйти, но какое-то странно болезненное любопытство, нахлынувшее вдруг, приковывает к месту, и я остаюсь.

— Почему вы с сестрой не эвакуировались отсюда, панна Зося? — спрашивает мужчина.

— Зачем? — наивно и лукаво бросает она.

— Как зачем? Мало ли что может случиться? Сегодня здесь мы, завтра немцы.

— Немцы с женщинами не воюют, — тем же тоном отвечает девушка.

— Да, но вы сами понимаете, панна Зося, что такой хорошенькой женщине, как вы, не совсем безопасно... Вы знаете, немцы, они...

— Пустяки! — уверенно восклицает девушка. — Немцы были у нас три раза, наш дом был занят офицерами. Они держали себя настоящими рыцарями. Они сделали много ценных подарков мне и сестре Зизи.

— За что? — в голосе мужчины нотки подозрения.

— Как за что? — удивляется девушка. — Вы же сами сто раз называли меня и хорошенькой и пикантной. Разве хорошенькая женщина не имеет права на особенное внимание со стороны мужчины.

— Простите, но я хотел лишь сказать...

— Не прощаю! — сказала девушка и, засмеявшись чему-то, ударила кавалера ладонью руки.

— Какие у вас чудесные руки, панна Зося! Мне хочется их без конца целовать, целовать...



— Поцелуйте, пожалуйста.

— Я в вас влюблен, панна Зося.

— Ого, как быстро!

— Да, да, панна Зося.

— Но мы... с вами только сегодня впервые встретились.

— Ничего не значит. Жизнь так коротка, панна Зося. Нужно спешить. Нужно брать от жизни все, что она дает нам прекрасного.

— Ишь вы, какой философ, — мечтательно проговорила девушка и опять чему-то тихо засмеялась.

— Чему вы смеетесь, Зося?

— Так. Просто мне весело. Скажите: вы на каждом ночлеге так быстро влюбляетесь?

— Что вы, панна Зося? Помилуйте. Как вам не стыдно подозревать меня в подобном донжуанстве... Вот в наказание за это я вас поцелую...

Он притягивает ее к себе, звонко чмокая и сопя, целует долгим поцелуем.

Тьма накрывает их тела.

Разговор смолк.

Я поднимаюсь с земли и направляюсь к калитке.

Навстречу мне идет еще пара «влюбленных».

Они подозрительно оглядывают меня и, плотно прижавшись друг к другу, точно скованные цепями каторжника, проходят в глубь сада.

В темных прогалах деревьев уже пламенеют шафранно-красные блики утренней зари.

Чист и прозрачен молочный воздух, освободившийся от удушливого зноя и крепко пропитанный запахом цветущих яблонь.



В синем полотне неба встревоженно курлыкают журавли. Я иду спать.

\*

В хату вбегает вестовой ротного и радостно кричит:

— Братцы! Война скоро кончится!

Все встрепенулись, как на пружинах.

— Кто сказал?

— Откуда знаешь?

Распуская сияние улыбки по своему лунообразному лицу, вестовой продолжает:

— Кыргызья пригнали сюда, окопы рыть будут, лес таскать; русского народу нехватат больше, некого брать в деревнях, все года забраты. Ясно, войне конец.

Разочарованно машем рукой и идем на улицу смотреть «кыргызье».

К нам действительно пригнали на окопные работы подданных из средне-азиатской России.

Солдаты обступили «восточных человеков» и оживленно разговаривают при помощи языка и мимики.

Важный толстый сарт, опустившись на коленки и по добрав полы длинного цветного халата, мочится. Солдаты, глядя на него, надрываются от хохота:

— Не умеешь по-русски, Абзей?

Восточные человеки степенно оглядывают солдат ленивыми грустными глазами.

\*

Какой-то «прапорщик юный» из пятнадцатой роты поссорился из-за женщины с проезжим ротмистром Н-ского кавалерийского полка и вызвал его на дуэль.



Дуэль состоялась за околицей. Стреляли из наганов на расстоянии двадцати шагов. Дама сердца, послужившая яблоком раздора между двумя воинами, присутствовала тут же.

Прапорщик первым выстрелом убил ротмистра наповал.

Ротмистр, оказывается, был заслуженным боевым офицером. Дважды ранен в боях и ни разу не эвакуировался далее дивизионного госпиталя. Награжден «Владимиром».

Теперь вопрос о дуэли дебатруется в каждой роте.

Угреватый поручик в синем френче убеждает капитана Хрущева.

— Раз вышла ссора — дуэль была необходима.

— К чорту дуэль, — резко кричит обычно спокойный Хрущов. — Вызовет меня какой-нибудь дурак, мальчишка, которому просто ж... выдрать ремнем нужно, а я, чтобы не показаться трусом, должен с ним стреляться. Благодарю покорно! К чорту дикарей! К чорту дикарскую мораль, согласно которой из-за бабьей юбки убивают на дуэли лучшего офицера.

\*

Командир полка собрал всех вольноопределяющихся и тоном, не допускающим возражений, угрюмо сказал:

— Ну, господа, довольно вам дурака валять. Все вы, имея среднее или высшее образование, в силу разных причин не попали — не захотели попасть — в военные училища и остались рядовыми.

Нашей родине предстоит еще много тяжких испытаний. Требуется неимоверное напряжение и строжайшая



экономия всех живых сил, культурных сил в особенности.

У нас нехватает старшего и младшего командного состава. На время зимнего стояния мы решили открыть при полках фронтовые учебные команды.

Всех вас я назначаю в нашу учебную команду в качестве курсантов. Срок обучения — пять месяцев.

Мы грустно переглядываемся. Многим эта перспектива не улыбалась.

Сделав передышку, генерал закончил:

— Надеюсь, господа, что из вас выйдут отличные боевые унтер-офицеры. Желаю вам успеха. Можете идти.

И вот мы в команде. Граве, Анчишкин, Воронцов и вся остальная братия.

Стоим в деревеньке на расстоянии десятка верст от полка.

Дисциплина в команде такая же, как в запасных батальонах петроградского гарнизона.

Взводный Трофимчук, зачисляя меня в свой список, счел долгом прочесть нотацию. Ввел в «курс».

— У меня, брат, забудь, что ты есть вольнопер. У меня здесь все равны. Буду тебе гонять, дондеже песок не посыпется. А ежели проштрафишься, непокорность проявлять будешь — избыю шомполом. Избыю — и жаловаться тебе некуда: здесь не Петроград.

•

Два года с лишним войны, и ничему не научились. Консерватизм и рутина не сдвинулись ни на йоту.

В команде бездушная муштра, зубрежка, зуботычины. И ни одного живого, дельного слова.



Взводные на строевых занятиях ходят со стеками или с шомполами.

Бьют солдат походя.

На уроках словесности в низеньких хатах, где неудобно оперировать шомполом, дерут за уши.

Философия у взводных замечательная:

— Нас еще не так драли.

Это же самое, помнится, слышал я в Петрограде.

Месяц, как я в команде, и, откровенно говоря, ничему не научился. Наоборот, чувствую, что поглупел.

И как эта армия еще держится? Чем она жива? Неужели одним мордобоем?

\*

Циркулируют упорные слухи о разрыве дипломатических сношений между Американскими Соединенными штатами и Германией.

Офицеры и рядовые стрелки возлагают на Америку надежды.

Дежик взводного Платошка вчера ораторствовал:

— Как только Америка подымется, немцам каюк! Сразу войне конец и нам всем бессрочный отпуск по домам.

— Ну, ты не ври, добрый молодец, — подзадорил Платошку добродушный парень с пепельными волосами.

— Чего не ври! Американцы, как господа офицеры сказывают, богатеющий народ в мире. Всех богаче. Опять же техника у них. В песок сотрут. Это не то, что наша армия — на трех стрелков одна винтовка: жди, когда товарища твоего убьют, а пока иди в атаку с саперной лопаточкой.



Платопке сочувственно улыбаются.

Воевать чертовски надсело. Первые годы войны надеялись на бога, на Егория храброго, на Илью-пророка, на деву Марию, на англичан, на французов, даже на румын. Но никто не помог. Вера в бога сейчас утеряна.

Французы и англичане все время стараются выехать на русской армии.

Румыния, сунувшаяся «спасать» Россию, получила от немцев такую взбучку, что от нее ничего не осталось, кроме названия.

Ввяжется ли Америка в войну?

Если ввяжется, то спасет ли?

\*

На уроке словесности взводный развертывает перед нами газету и вслух читает описание трогательной истории «об утерянном и возвращенном» знамени одного из русских полков.

Во время памятного разгрома самсоновской группы в Восточной Пруссии в 1914 году отважная — конечно, патриотка — сестра милосердия случайно подобрала на поле брани (конечно, в немецком тылу) брошенное в суматохе знамя русского полка.

Спрятав знамя себе в панталоны, сестра пошла в немецкий плен и так путешествовала с ним около года по всей Германии, пока не была отпущена в Россию благодаря известному соглашению.

И вот теперь о ней кричит вся Россия, военные пьют за ее здоровье, священники возносят за нее молитвы, журналисты называют ее русской Жанной Д'Арк.

— Поняли? — спросил взводный, окончив чтение.



На нас эта история не произвела того впечатления, на которое рассчитывало начальство.

— Так точно, — гаркнул натужно одинокий голос. Остальные молчали.

— А ну-ка, Волдырев, Расскажи, что понял? — говорит взводный.

Волдырев, самый неуклюжий и малограмотный из всей команды, испуганно мигает косыми монгольскими глазами, не зная, как реагировать на это слишком сложное событие.

— Ну, — грозно рычит взводный, топорща тараканьи усы.

Волдырев крахтит и решается.

— Так точно, господин взводный, по-моему все это баловство одно, дурость бабская. Кому это знамя нужно теперь? Тряпица старая, на портянки не годна... Сгнила, поди. Все равно новое делать надо.

Изумление на лице взводного борется с гневом. Гнев одерживает верх. Грозно хмурятся брови.

— Вот дурак! Вот дурак! Да пойми ты, скотина безрогая, что знамя-то — хоругвь, святыня, а не просто тряпка!

— Какая уж теперь святыня! — упрямо бормочет покрасневший Волдырев. — Год целый у бабы промеж ног болталась...

Не выдерживаем и безудержно хохочем...

Взводный целый час гонял нас гусиным шагом.

Вытягивая шею, мы точно попутали под каждый шаг злобно бубним:

— Знамя есть священная хоругвь...

\*



Нашли два старых, брошенных беженцами зеркала, соорудили стеклограф. Валики для прокатки смастерили сами. Реактивы и чернила достали в штабе дивизии, через знакомого писаря.

Нас маленькая сплоченная группа, остальные курсанты команды ничего не знают.

Теперь можем сами печатать. Радуюсь точно дети, которым подарили оригинальную игрушку.

Перепечатали на курительной бумаге несколько старых прокламаций против войны, полученных мною с посылками из Москвы. Распространили среди своих и через обозников в соседних полках.

Воронцов предложил напечатать что-нибудь свое о местных настроениях и фактах. Я составил маленькую листовку «на злобу дня».

Оттиснули сто экземпляров. Мучились целую ночь. Никак не проявлялся текст. Ужасно капризная вещь этот стеклограф: то передержишь, то недодержишь... Получаются плешины, мазня...

Двое работали, один стоял «на стреме» у дверей.

Листовка пошла по рукам, и так приятно наблюдать вызванное ею оживление в нашей среде. Не посвященные таращат глаза, как бараны.

Одну листовку ночью наклеили на кузов походной кухни, другую на дверь халуны, где квартирует начальник учебной команды.

\*

Из всей команды только я один играю сносно в шахматы. Начальник команды, зная это, изредка приглашает меня к себе сыграть партию.



Сегодня, сидя со мной за шахматной доской, он неожиданно говорит:

— Вы знаете, у нас пошаливают. Прокламашки появились... Да, да, на дверь мне прилепили даже, мерзавцы!

Меня передергивает. Я чувствую, что предательски краснею, и низко нагибаю голову над столом.

— Мне сдается, что печатают их где-то здесь, поблизости. Вы не слыхали от солдат?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, — говорю я, делая на доске глупейший ход. Правая нога под столом дрыгает в нервной дрожи.

Партию я проиграл.

\*

Ночью выпал глубокий снег.

Низенькие хатки утопают в голубых гребнях сугробов.

Хлопьями пушистой марли окутаны деревья.

Ходили на тактические занятия и вернулись измученные до крайнего предела.

Многие, отказавшись от ужина, сразу валятся на лавки, на пол и засыпают, как опоенные снотворным зельем.

Взводный, помещавшийся в нашей хате, выходит из-за перегородки и, выкатив круглые, как луковицы, зеленые глаза, говорит:

— Хлопцы! Воды!

За водой мы ходили к речке, за полкилометра от деревни. На улице метель, и, главное, все дьявольски устали. Воду можно занять у хозяйки.



Молча переглядываемся друг с другом, ожидая, что кто-нибудь наконец скажет:

«Я иду, братцы!»

Но среди нас нет ни Бобчинских, ни Добчинских. Все молчат. Минута молчания кажется вечностью. Взводный, кривя челюсть и захлебываясь, кричит:

— Взвод! За водой бегом марш!

Собрали все отделения, расквартированные в других хатах, которые никакого отношения к этому инциденту не имели.

Но в армии существует в некотором роде круговая порука: все за одного и один за всех.

И мы, шестьдесят человек, привыкших беспрекословно исполнять слова команды, строимся в две шеренги, бегом трусим к реке. Подул резкий ветер, взметая свежее выпавший снег. Поземка режет лицо, кидает в глаза хлопьями пушистого снега, пронизывает до костей.

С трудом поднимаем простуженные, обмороженные, сбитые ноги. Плетьюми висят вдоль тела одеревяневшие руки.

Один только, впереди бегущий, держит в руках ведро. Пятьдесят девять человек — порожняком.

А сбоку, высунув язык, бежит горбоносый, сутулый, похожий на крымскую борзую отделенный Яшма, по прозвищу Мандрило, и злобно шипит:

— В ногу! В ногу! Я вас до реки двадцать раз сгоняю! Службу не знаете!.. Ать-два! Ать-два!..

И когда мы берем ногу, отделенный Яшма подает новую команду:

— Кричите: «Взводный хочет умываться».



И мы кричим до самой реки. Кричим рупором шести-десяти молодых глоток, с отчаянием и злобой в голосе.

Яшма входит в азарт и, ухмыляясь, вопит:

— Громчи! Не чую! Громчи, собачьи дети! До полуночи гонять буду!

И опять навстречу метели, снежным хлопьям, ветру, захлебываясь в сугробах снега, шестьдесят глоток ритмически («громчи») выкрикивают:

— Взвод-ный хо-чит умы-вать-ся!!!

Навстречу с ведрами воды идут бабы и дивчата. Таращат на нас глаза.

Провожают удивленными возгласами.

Наверное, считают нас сумасшедшими.

Шестьдесят человек с одним ведром за водой...

\*

Ночь. В хате тишина, нарушаемая мерным храпом простуженных людей.

Кто-то изредка бредит со сна.

Лежу и думаю о вчерашнем «коллективном» хождении за водой.

Вчера меня разбирал смех. Сегодня настроение изменилось. Мне кажется, что меня всенародно раздели догола и вышлорили без всякой вины.

Один голос, суровый и мстительный, шепчет мне в ухо: «Встань, возьми оружие и убей взводного. Отомсти за свой позор и позор своих товарищей. Не бойся! Выстрел твой прозвучит громко и призывно, как выстрел Каракозова. Может быть, ты получишь каторгу, может быть, тебя расстреляют. Но разве жизнь твоя лучше каторги? Да и может ли испугать тебя расстрел?



Ведь все равно ты не уйдешь живым с фронта? Ты будешь убит не сегодня — завтра. Чем ты рискуешь? Впереди гибель. Так умри хоть с треском по крайней мере. Дерзни!»

А другой голос, гаденький и трусливый, как провокатор, шепчет:

«Идиот! Ты этим ничего не достигнешь. Ты убьешь взводного, но разве завтра на его месте не будет такой же грубый солдафон? Ничего не изменится. Имя твое будут через пару дней.

Народовольцы убили царя, но разве деспотизм от этого ослабел? Разве Александр III не был большим реакционером, чем Александр II? Террористический акт даже против царя — буря в стакане воды...»

\*

Окаянные, серые дни.

Булыжником оседают в сознании и не забудутся никогда.

Томительные зимние ночи в нетопленных халупах, без освещения.

Фунт хлеба, ложка сухой гречневой каши, четверть котелка жидкого супа из фасоли или гороха.

Шесть золотников сахарного песка.

Дело с посылками совсем расстроилось.

Посылка из Москвы идет пять—шесть месяцев.

Купить у жителей нечего, сами побираются. Голод сжимает армию железной перчаткой.

Нет сил терпеть и страдать.

\*



Боев нет. Идет перестрелка впустую. Из окопов ежедневно везут мимо нас много больных и сумасшедших. Говорят: среди последних есть симулянты.

Холодов больших нет, — масса обмороженных.

Это наводит на размышления.

Вполне серьезные и нормальные люди, переутомленные войной, одевают сапоги без портянок, чтобы отморозить пальцы и уйти из окопов в лазарет.

Георгиевский кавалер Пупков рассказывал, что в первом батальоне солдаты наливают в сапоги воду, насыпают снег и затем всовывают туда ногу. Чтобы заморозить получше, держат по несколько часов.

Подошва ноги примерзает к подметке.

Разуваясь, оставляют в сапоге клочья содранного мяса и кожи.

\*

По ночам часто снятся обрубки ног. Я их видел в санитарных вагонах и лазаретах.

Много, много обрубков.

Во сне я хожу по опустевшим улицам большого города, по цветущей зеленью долине и всюду по бокам вижу оголенные, выставленные бесстыдно напоказ отвратительные культянки с не зарубцевавшимися кровоточащими ранами...

Сквозь неумело наложенные швы сочится желто-бурая гной, который грозит затопить все окружающее. Иногда, убегая от этих кошмарных видений, я просыпаюсь среди ночи с громким криком.

Мой сосед, кубанец Горбулин, дружески толкает меня в бок:



— Опять тебя заломало?! Прими бром.

Я иду принимать двойную порцию лекарства. Пальцы прыгают, стучат зубы в какой-то непонятной дрожи. В зеркало бы взглянуть на себя.

Засыпая, снова вижу обрубки ног, окровавленные, истерзанные людские туши, сплюсненные головы. Все это шевелится и угрожает мне...



## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Снимали немецкую заставу.

Все учебные команды дивизии собраны в один крепкий, дисциплинированный кулак.

Одели белые саваны с кашпононами.

Что-то жуткое в этом странном одеянии... Может быть, действительно надеваешь смертную одежду и через несколько часов — минут — из актера превратишься в покойника.

Ночь...

Тусклое небо набухло сырой непроглядной тьмой. Тугие порывы ледяного, пронизывающего до костей ветра со свистом и стоном гонят тучи назойливых колких льдинок.

Белая пыль замедляет окопы, слепит глаза.

Не слышно ни скрипа шагов, ни разговоров. Не видно людей: все тонет в звенящем шопоте вьюги, снеговых роях, в белом потоке.

Долго кружились в снежной пустыне в поисках небольшой ямки, где присосалось несколько десятков людей с пулеметом.

Подползли. Окружили. Обрушились на головы сонных, дрожащих от стужи паникой, железным горохом английских ручных гранат. Смяли безумно-озлобленным хрипом «ура».



Когда иссякли гранаты и прошло напряжение первых жутких минут внезапного набега, пустили в ход приклады и штыки...

Руководившие операцией подполковник Христолюбков и штабс-капитан Жемчужников оба тяжело ранены своей же, случайно разорвавшейся гранатой.

Командование принимает тупой и трусливый подпоручик Модзалевский.

Выкурив противника, мы не знаем, что дальше делать. Ординарец, посланный с извещением о победе, застрял и не возвращается.

Батареи противника уже проснулись, нащупали нас, и воздух дрожит от несмолкаемых гневных громовых раскатов орудий.

Каленые брызги шрапнельной слюны с неумолимой математической точностью стелются вокруг маленькой ямки, переполненной живыми и мертвыми людьми.

Глухо и неэффектно звучат в завывании выюги ружейные залпы.

Потеряв половину людей, Модзалевский подает команду об отступлении.

Отступая, пленных немцев перекололи. Тащить их за собой под усиленным обстрелом не совсем удобно и без-опасно.

Самые трусливые и жалкие яростно пыряют пленников штыками.

Стараются показать свою храбрость, за свою трусость мстят.

Всегда так.

Тот, кто в наступлении идет в хвосте, прячется за чужую спину и дрожит от испуга, после боя кричит больше



всех, добивает раненых, показывает необычайную воинственность своей натуры...

\*

Я в госпитале. Голова туго свинчена пахучей марлей и, может быть, от этого она кажется такой тяжелой.

В ушах странное гудение с переборами: то чаще, то реже. Незнакомая тяжесть клещами сжала сердце, мозг, волю и тело.

С усилием выгибаю одеревяневшую шею, читаю скорбный лист, повешенный у изголовья моей кровати:

«Ранение осколком в левый висок и контузия груди». Температура? Ого! 39,2. Высоконька! Но кризис прошел, я это чувствую каждым атомом своего тела. Впереди, значит, опять жизнь! Живая жизнь!

Когда я поворачиваю голову или пытаюсь подняться с койки на локтях, меня тошнит.

Вспоминаю: отступление дурацкое, без плана, без команды.

Я был возмущен тем, что кололи пленных немцев, был вне себя. Бежал, не соблюдая осторожности.

Рывками скакало куда-то ошалевшее сердце.

Оторвался от своих. Туда ли бегу — не думал.

Наткнулся на спутанную, разорванную снарядами проволоку.

Она преграждала путь.

Бросился в сторону, окончательно запутался в лабиринте козел, ершей, мешков с землей и черных зияющих воронок, набитых трупами.

Встревоженный и озлобленный враг бил из всех орудий.



Наши батареи отвечали.

С бешеным ревом летели навстречу друг другу снаряды.

В неподвижно-холодном воздухе стоял сплошной гул, проникающий во все поры тела.

Покрытая ледяной коркой и припудренная снежным покровом земля глухо стонала, как-будто по ней били гигантским молотом великаны-кузнецы.

Где-то порой раздавались крики звериной силы и ярости, переходившие в громовый потрясающий вопль.

Всею поднимались к небу серые тучи снега, земли, обломков и человеческих тел.

Неприятельские окопы скрылись от взора за темной завесой дьявольской метели.

Вверху над головой—грозное и разгневанное небо без звезд, без луны, без красок, без теней и линий.

Откуда-то птицами порхали ракеты. Треска их в хаосе звуков не слышно было, только видны были во мраке неистовой ночи феерические загогоги их матово-красных, зеленых и синих огней.

Я долго и тщетно, как слепой щенок, совался по всем направлениям, ища выхода из центра разгневанной стихии. Хотел убежать из кольца смерти целым и невредимым.

Не удалось.

Меня обдало жаром разорвавшегося снаряда. Опадило глаза. Невидимая рука сжала все тело, как мокрую тряпку, и, как детский мячик, подбросило вверх.

Не выпуская из рук винтовки, я легко отделился от земли, поплыл по волнам холодного гудящего воздуха.

Надвинулся усыпляющий мрак.



Тишина окутала застывшее сознание и наступил мягкий, желанный покой.

Засыпая, остро чувствовал тошнотворные запахи серы, пороха, жженной кожи, жареного мяса и человеческих испражнений.

И в этот короткий миг затипнотизированного смертью сознания ничего мне не было жаль. Все умерло раньше меня. Все потеряло актуальность, значение. Все, все, за исключением покоя, охватившего измученное вздрагивающее тело, казалось таким ничтожным.

\*

Доктор левой рукой держит мою руку, а правой постукивает грудь.

Я не спрашиваю его ни о чем, он сам начинает разговор:

— Ну, как самочувствие? Так. Ничего, это скоро пройдет. Месяца через два мы поставим вас на ноги. Глухоты не будет — это я вам гарантирую. А сейчас вам нужно побольше кушать, спать, поменьше волноваться и разговаривать. Подлечим и отправим к жене. У вас есть жена?

— Нет.

— Ах, какая жалость! Ну, в таком случае к невесте. Невеста, конечно, есть. Заждалась, наверное, бедняжка.

Доктор ласково улыбается, кивает мне головой и отходит к моему соседу. У соседа ампутированы обе руки. Я провожаю его глазами.

У моего соседа желто-зеленое, иссеченное каналами извилистых морщин лицо. Огромные желваки заострившихся скул упрямо выпирают вверх, как у трупа.



Строгие остановившиеся глаза горят печальным блеском... Он никогда не стонет, но я знаю, что у него адские боли по ночам.

\*

Раненые в палатах много говорят о мире и конце войны, об измене генералов, о шпионаже. Эти разговоры надоели мне еще в окопах.

Когда сестры и врачи уходят из палат, безрукий фальдфебель с тремя «георгиями» на халате рассказывает похабные анекдоты. Репертуар у него богатый.

Раненые жадно глотают фельдфебельские прибаутки и—кто может—хохочут.

Сиделки и санитары тоже слушают. Сиделок не стесняются, за женщин не признают.

Иногда налетают немецкие аэропланы, сбрасывают бомбы, сеют панику. В палату доносится треск и гул взрывов. Пол под нами качается, как при землетрясении. Двигаются койки, столы, демонической музыкой звенит потревоженная посуда.

Все удирают от окон в глубь палаты. Некоторые залезают в углы, под койки.

Жажда жизни в госпитале у многих появляется ярче, интенсивнее, чем на фронте.

В животном испуге мечутся на своих койках тяжело раненые, жалобно стонут, ругаются. Просят «немедленно» эвакуировать дальше в тыл.

Они исполнили свой долг и хотят отдыхать, а неприятель постоянно тревожит разбойными налетами.

Это бессовестно, наконец они не согласны так воевать...

\*



Доктор показывает мне шероховатый темно-бурый трехгранный осколок снаряда, извлеченный из моей головы.

Осколок немудрый, весом меньше винтовочной пули. Череп не поврежден, операция прошла удачно, осложнений нет.

Доктор необыкновенно жизнерадостен. Каждая удачная операция радует его.

Радость доктора мне непонятна. Ну, хорошо, он спас столько-то человек от смерти, столько-то вылечил раньше естественного срока. Но что пользы в этом? Через месяц нас снова погонят в окопы, и снова лишения, муки, ранение или смерть. Если здраво смотреть на дело, то доктор-хирург оказывает тяжело раненым медвежью услугу.

— У вас чугунный череп, — докладывает мне доктор с комической серьезностью.

И по глазам его я не могу понять: шутит он или говорит серьезно.

— Такие черепа — редкость в наше время, честное слово. Ваш череп — это клад для науки. Знаете что, вы должны перед смертью завещать его Московскому университету. Вы воспитанник Московского?

Очевидно, рана на голове у меня была серьезная. Мне вдруг становится весело. Я представляю себе смерть стоящую у моего изголовья в образе уродливо-жадной, развратной старухи с косой в руках и, согрясьая от смеха, показываю ей кукиш: «на-ка, матушка, выкуси»...

\*



К нам ежедневно приходит в гости — поболтать с легко ранеными — прапорщик Волгин.

Он лежит в соседней палате. У него выбит левый глаз, ампутирована нога.

Его несколько раз собирались эвакуировать для дальнейшего лечения в тыл. Не едет. Здесь работает сестрой милосердия его невеста.

Причина основательная.

Сегодня он, сидя на моей койке, долго разговаривал о своих муках и переживаниях.

— Когда меня привезли сюда с поля сражения, — говорил он тихим, срывающимся голосом, — смерть уже коснулась меня своим крылом. Я твердо знал это. Чувствовал. И потому я был так равнодушен ко всему и спокоен.

В течение нескольких дней душа моя спала, и я был за бруствером жизни, за порогом ее.

Два раза в день санитары осторожно клали меня на носилки и таскали в перевязочную. Теперь, когда раны уже заживают, перевязка причиняет мне мучительные боли, а тогда я ничего не чувствовал.

Когда меня клали на операционный стол, сажали в кресло, пилили мои кости, скребли мясо, ковыряли пинцетами мои гноящиеся раны, я не стонал, не роптал, но всем своим буддийским спокойствием, всем одеревенелым безразличием тела я говорил медикам:

«Скоро ли вы перестанете мне надоедать? Я знаю, что не вылечите... Оставьте меня в покое».

И вот в эти дни затянувшегося кризиса приехала моя невеста Лиза.

Это было так неожиданно.



Она плакала, целовала меня, говорила мне что-то, — может быть, слова любви — но я ничего не чувствовал и не слышал. Я только видел ее.

И я остался жив.

\*

Эвакуируюсь с партией выздоравливающих в Смоленск.

Медленно двигаемся на дровешках к вокзалу. Там стоит санитарный поезд, приехавший за нами.

Что это такое? Бред? Сон?

Провожу рукой по лбу. Рука ощущает холодную влажную кожу, складки морщин, так разросшиеся за последние два года. Все на месте.

Оглядываюсь на товарищей: они возбуждены, поражены не менее меня. Но никто ничего не может понять.

Ликующая, смешанная толпа штатских и военных выплеснулась откуда-то из лабиринта кривых переулков и направляется к станции.

Красные флаги — флаги революции. И ни одного царского портрета, ни одной иконы.

Песни — нестройные, грубые, но необычно бодрые, веселые, искренние, волнующие, новые.

Захватывает дух. Хочется петь и орать во все легкие.

Хочется выпрыгнуть с санитарных дровешек на притаивший, лоснящийся от мартовского солнца снег и слиться с радостно настроенной толпой.

Худощавый студент с копной рыжих волос на голове взбирается на подножку вагона. Толпа плотно окружает его. Красные знамена качаются над головами в воздухе.



— Граждане! Товарищи! Великие дни! В Петрограде революция. Царь отрекся от престола... Вот телеграмма! Граждане! Мы должны...

Голос молодой и звенящий щедро кидает в толпу цепкие, задорные, неслыханные в этом городке слова.

И слова опьяняют, электризируют.

Сотни глоток, сливаясь с паровозными гудками, кричат по-военному:

— Урра! Да здравствует!

Кого-то качают на руках.

Чахоточный чиновник с кокардой на вылинявшей фуражке. Говорит надрывисто, кашляет, то-и-дело поправляя сползающее с носа пенсне. Слова его молоды, буйны, они сверкают тысячами огней.

Вот на «трибуне» рабочий железнодорожного депо.

Говорит не хуже студента. Где он научился?

Все ораторы говорят об одном, но каждый по-своему. Все рады одной великой радостью: царя не стало.

\*

Один за другим из золотой лазури небосклона выплывают четыре немецких аэроплана.

Все ближе и ближе в воздухе грозное, предостерегающее гудение мотора.

Со стороны станционного шлагбаума бьет по самолету зенитная пушка. Бьет, как всегда, мимо.

Две бомбы с аэроплана падают на запасных путях вдали от митинга.

Толпа, как подхваченная циклоном, бросается враспышную, в черные пасти переулков, похожих на кротовые норы.



Забывшие в панике красные флаги лижет весенний ветер.

Немецкие летчики отравили все настроение. Бомбами убили большую, только-что вспыхнувшую радость. Люди ждали этого праздника сотни лет...

Знают ли они, какое преступление совершили?

В душу удавом вползает тревога. Серьезно ли это? Как Россия? Как армия? Как же война?

Подавленные собственными думами, молча, без суеты грузимся в вагон.

Едем в Смоленск.

\*

На каждой станции митинги.

Всюду ликующие толпы народа.

Газет невозможно достать.

Ликование толпы напоминает первые недели войны. Но там было совсем иное. Сейчас что-то захватывающее, не казенное, выходящее из самых недр.

Заново родились люди. Вежливы, предупредительны. Появились новые, незнакомые слова. Дышится легко и свободно.

Надолго ли?

Выкидываются самые левые лозунги.

\*

Меня «подлечили». Давали месячный отпуск — отказался. Приехал в Петроград в свой запасный батальон.

Какие перемены!

И город, и наши казармы, и люди — все неузнаваемо. Как-будто все пропущено через какую-то облагоражи-



вающую и очищающую «всякие скверны» камеру. Хотя есть и теневые стороны, но они тонут, бледнеют на общем фоне положительных достижений.

Казарменная муштра уничтожена. Вход «нижнему чину» везде открыт. Офицеры говорят солдатам *вы*.

Отношения между офицерами и нижними чинами еще неопределеннее: и те и другие явно друг другу не доверяют.

Раненые и больные солдаты, побывавшие на фронте, пользуются особыми привилегиями. Они становятся во главе движения петроградского гарнизона.

Дежурный офицер ежедневно чуть не плачет, собирая наряд: никто не желает идти в караул.

— Будя, походили! — говорят солдаты. — Теперь не старый режим.

— Чего охранять, теперь свобода.

— Теперь народ сознательный, никаких постов не надо.

Старики из бывших фронтовиков говорят:

— Пушай молодняк в караулы ходит. Нам и отдохнуть пора. Мы кровь проливали.

\*

В казармах каждый вечер танцы.

Никто их не афиширует, но к восьми часам — начало с'езда — в огромном зале третьего взвода уже разгуливают десятки девиц.

Танцуют все, начиная от кадрили и кончая танго.

Полковые музыканты с восьми вечера и до двух ночи тромбонят в свои желтые трубы, обливаясь потом и проклиная «свободу».



Пробовали отказаться играть — их чуть не избили.

— Для офицеров раньше играли, а для нас не хотите?! — кричали заправилы танцев, окружив старого капельмейстера.

— Морды побьем и на фронт всех вас в двадцать четыре часа!

— Народу служить не хотите?!

Музыканты сдались и тромбонят до изнеможения.

\*

Ночью, возвращаясь в свой взвод, натолкнулся во дворе на большой стол у продуктового склада, на котором днем режут капусту.

В синем сумраке насупившихся теней у стола копошатся какие-то фигуры; несколько человек стоят поодаль.

Не понимая ничего, спрашиваю:

— Что тут такое, товарищи?

Сильным баритоном кто-то промычал из темноты:

— Ничего! Становись в очередь, если хочешь...

— Шестым будешь... — хихикает другой.

В третьем взводе еще танцуют. Слышны звуки задрипанного вальса.

Поднимаясь по лестнице, я спрашиваю себя:

«Почему же не кричит и не зовет никого на помощь эта женщина, распятая на капустном столе?»

Ответа найти не могу.

На фронте я видел это много раз.

Насилие женщин. Очереди на женщину — все это с войной вошло в быт.

Но ведь здесь не фронт.



Значит, затопляет всю страну и сюда ползет *это* с окровавленных галицийских полей, несчастных Карпат, с польских и австрийских местечек, непоправимо искалеченных, растоптанных железною пятой десятимилионных орд дикарей, оцетинившихся штыками...

\*

Романовская Россия рухнула.

Вышли из подполья политические партии.

Политика сегодня стала такой же потребностью, как еда.

На заборах ежедневно пестрят кричащие афиши, приглашающие на митинги, диспуты, лекции.

«Работают» кадеты, прибирая к рукам власть, ведут агитацию народные социалисты, радикалы, либералы, народные демократы, социалисты-революционеры, социал-демократы-меньшевики, анархисты-максималисты, анархисты-террористы, анархисты-индивидуалисты, анархисты-синдикалисты, крестьянский союз, земский союз, кооперативный союз, баптисты, евангелисты, христианские демократы, старообрядцы...

Могучей рукой толкают массы на восстание против капитала большевики.

Все писатели и журналисты стали политиками.

Оказывается, все влюблены в революцию.

Все давным давно ненавидят царизм и желали его погибели.

Одни кричат об углублении революции, другие — о торможении ее, третьи — о том и другом сразу.

Объясняются в любви революции и вчерашние поставщики, наживающие миллионы на войне. Они надеются,



что «революционное» правительство поведет более интенсивную войну и даст им возможность заработать больше, чем при царе.

Каждая партия распространяет свои программы, тезисы, резолюции, выдвигает на всяких выборах своих кандидатов и старается опорочить кандидатов всех других партий.

Появилось множество «старых» революционеров. Всякий газетчик, продавший когда-то несколько номеров нелегальных газет, считает себя революционером с подпольным стажем.

Всякий зубной врач, пломбировавший какому-нибудь революционеру зубы, считает себя подпольщиком.

И меньше всего кричат о революции, о своей преданности ей те, которые совершили февральский переворот: солдаты и рабочие.

Они вышли на улицу свергать старый режим с деловитостью и серьезностью мужика, выходящего в ведренный день на покос.

Многие партии громко кричат о своей любви к революции потому, что боятся ее.

В их хвалебных гимнах слышится трусливое:

«Чур меня! Чур меня! Чур!...»

\*

Знаменательный день.

Выбирали офицеров. Не знаю, кто инициатор этого приказа.

С сегодняшнего дня армии, как боевой единицы, нет. Я лично чрезвычайно рад. Только я удивляюсь разуму теперешних правителей.



Часть кадрового гвардейского офицерства совсем не показывается в казармы и занимает выжидательную позицию, втайне мечтая о восстановлении монархии.

Часть сочувствует революции и искренне, но робко пытается сблизиться с солдатской массой.

Часть карьеристов и интриганов подленько заискивает перед солдатскими «вождями».

Нужно было выбрать командиров из второй группы, но, к сожалению, в большинстве пролезли представители третьей.

Унтера, фельдфебели и подпрапорщики вели широкую предвыборную кампанию.

Они ловко заговаривали солдатам зубы, сразу превратились в либералов, ругали мастерски старые порядки, откровенно предлагали свои кандидатуры на командные должности.

И солдаты забыли все зуботычины, полученные от взводных и фельдфебелей «при старых порядках», забыли потогонный гусиный шаг.

Вернее, не забыли, а сделали вид, что забыли — еще вспомнят.

Выбрали многих из низшего командного состава.

Постановили: от имени всего полка ходатайствовать о производстве в прапорщики тех унтер-офицеров, фельдфебелей и подпрапорщиков, которые выбраны на должности ротных и полуротных командиров.

\*

Просмотрев утренние газеты, отправляюсь в город и брожу до вечера. Так ежедневно.

Эпоха митингов.



В Таврическом и Ботаническом садах, во всех скверах, у каждой трамвайной остановки митинги.

Выступает всякий, кто может. Какой-нибудь человек, набравшись духу, залезает на мусорный ящик, на фонарный столб и кричит:

— Товарищи!!.

Оратора окружает толпа и, грызя семечки, терпеливо слушает до тех пор, пока он не изойдет потом, не израсходует всего запаса своих слов.

Уставшего оратора сменяет другой, третий...

Импровизированные митинги собирают по несколько тысяч слушателей. Это понятно.

\*

Митинги вступают в новую фазу.

Тревогой и страстью наливаются речи ораторов.

От общих суждений переходят к конкретным предложениям.

Камень преткновения всех партий — война.

Монархисты и черносотенцы, кадеты с «подпольным стажем», эс-эры и меньшевики провозглашают:

— Война до победного конца!

Буржуазная публика этот лозунг одобряет.

Солдаты, особенно побывавшие на фронте, ругаются:

— Сами поезжайте на фронт!

— Не желаем воевать!

Солдаты симпатизируют большевикам.

Любям в измызганных шинелях самый близкий лозунг — четкий лозунг большевиков:

«Мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народностей».



Солдаты все знают, что большевистский лозунг о войне означает немедленное прекращение войны. Популярность большевиков неуклонно возрастает. В предстоящих выборах в учредительное собрание пятнадцатимиллионная армия, вероятно, опустит шары в большевистскую урну. И если в учредительном собрании большевики окажутся в меньшинстве, армия поднимет на штык этого «хозяина» земли русской.

Недавно в Ботаническом саду митинг закончился дракой. Солдаты свистят, улюлюкают ораторам, призывающим воевать «до победы».

Сторонники войны и офицеры, переодетые в штатское, травят солдат.

— Семечками торгуете!

— Папиросками спекулируете!

— Без поясов по городу ходите!

— Хлеб казенный жрать мастера, обмундирование требуете, а воевать за вас Александр Сергеевич Пушкин должен?!

— Изменники!

— Свободу продаете!

— Не свободу им, а кнут хороший надо!

Солдаты, не искушенные в логике и диалектике, отвечают ядреным окопным матом.

Кавалерийский офицер-неврастеник вчера ударил солдата-гвардейца ладонью по щеке.

Началась баталия.

Солдатам на помощь прибежали рабочие близлежащих заводов.

Офицеров, буржуев, сторонников войны изрядно помяли и выгнали из сада.



Через полчаса митинг открылся снова. Ораторы провозглашали:

— Долой войну!

Слушатели горячо аплодировали и кричали:

— Правильно!

— Согласны!

Жаркий полдень.

Митинг в саперном батальоне.

На открытом воздухе в обширном дворе распластались живописные группы разомлевших от зноя солдат.

В центре двора маленький столик под красной скатертью. На столике графин с водой, колокольчик — бутатория и реквизит митинга.

Тут же примостилась сбоку опрокинутая вверх дном бочка из-под сельдей. Это — трибуна.

Ораторы все — «социалисты», но «разных толков»: народные социалисты, меньшевики и социалисты-революционеры.

Все на войну напирают: «Нужно разбить Германию».

Настроение солдат-сапер колеблющееся.

Наговорились.

Меньшевики предлагают на голосование свою резолюцию, эс-эры и эн-эсы — свою.

Потом меньшевики и эс-эры объединили свои резолюции в одну, «чтобы не разбить голосов».

Резолюция, вероятно, прошла бы.

Но из толпы слушателей к ораторской бочке напористо продирается широкоплечий степенный бородач-сапер. Просит слово «по поводу резолюций».



Командир батальона шопотом совещается с ораторами.

Бородача уже заметили солдаты. Со всех уголков двора ему приветливо улыбаются и кричат:

— Степаныч, не подгадь!

— Дать высказать свою мнению Степанычу!

Бородач получает слово и лезет на бочку.

Тишина. Солдаты вытягивают нетерпеливо шеи.

— Свой. Что-то скажет? Вдруг обремизится?

Окающим поволжским говорком размашисто и уверенно начинает он речь:

— Товарищи! Нам вот просветители наши и учителя предлагают резолюцию по военному и политическому вопросам принять. Что же! Мы не прочь от этого. Резолюции — дело хорошее. Только как же мы будем принимать эту резолюцию, когда от большевистской партии оратора не было и резолюции нет.

Энти резолюции хороши, а може, большевицкая еще лучше? Може, она нам в самый раз будет? Тады как?

— Большевики были приглашены на митинг, — громко кричит председательствующий за столиком офицер. — Сами не захотели притти. Не хотят, значит...

— У большевиков кишка тонка, — острит какой-то задира, невидимый в толпе.

Толпа густо шипит в знак протеста.

Бородач машет рукой, призывая к порядку. Любовно оглаживает широкую, распутившуюся под ветром бороду.

— Помолчите, товарищи, одну минуточку. Сейчас я кончу. Большевики были приглашены — это справедливо. Но почему не явились?



Он делает паузу, как бы ожидая ответа со стороны аудитории. Застыл в любопытстве усталанный телами солдатскими двор.

Обведя всех глазами, громко и отчетливо говорит бородач.

— Большевики не могли притти потому, что они члены рабочей партии. Почти все они днем заняты на работе. Вечером будет у нас представитель большевистского комитета, сделает нам свое разъяснение. Тогда и резолюции принимать будем.

Разрядилось напряжение. Тяжело дышат распаренные тела.

— Правильна! — гудит по рядам.

— С ситова и начинать надо было!

Бурным всплеском сочувственных аплодисментов солдатская масса снимает с трибуны своего оратора, и когда он проходит по рядам, вслед ему летят десятки теплых, ласковых слов.

За объединенную резолюцию меньшевиков и эс-эров поднимается несколько рук. Против — три тысячи.

\*

Призваны в армию все бывшие городовые, жандармы. В наш батальон две сотни их влили. На дворе с ними ежедневно занимаются шагистикой, ружейными приемами.

Пузатые, краснокожие, раскормленные, точно быки, с чудовищными усами, они так мало похожи на солдат военного времени.

Широкие, выпуклые, как натянутый барабан, груди обильно украшены стертыми, вылинялыми медалями.



Солдаты относятся к ним враждебно. Встречают и провожают колкими замечаниями.

Эти настроения передались и унтерам, ведающим «переподготовкой» городских.

Унтера гоняют их по двору точно новобранцев: «Мы вам спустим жир-то».

Когда городовые протестуют против муштры, унтера, выкатив глаза, орут:

— Ага, вам новая власть не хороша?

— Царя надо?! У, гниды!

— Фараоны!

Городовые робко втягивают бритые головы в плечи и опускают виновато глаза.

А унтера продолжают:

— На фронт ехать — чести для вас много! На фонарных столбах ваше место, вон где! Кровь пили народную!

\*

На Марсовом поле ежедневно маршируют женские ударные батальоны, организованные женщиной-прапорщиком Бочкаревой.

Сама Бочкарева становится популярной, как Кузьма Крючков. Ее портреты — тупое квадратное лицо гермафродита с толстыми губами — вывешиваются в штабах, в казармах...

Бочкаревские ударницы одеты в обыкновенные солдатские штаны и гимнастерки. На ногах — грубые мужские сапоги.

Эмансипация полная.

Мужская военная форма, плотно облегающая тело, делает их комично-уродливыми.



На обучение ударниц обыватели специально ходят смотреть, точно в цирк. Одни одобряют, другие ругают.

Буржуи, показывая солдатам на марширующих женщин, говорят: «Смотрите и стыдитесь. Женщины хотят воевать, а вы, мужчины, трусите. Довели родину! Свободу завоевали! Женщины вынуждены сами братья за оружие! Эх вы, мужчины!

Солдаты петроградского гарнизона возненавидели «бочкаревскую гвардию» непримиримой ненавистью и оскорбляют на каждом шагу:

— Проститутки! Потаскушки!..

— Чорт вас сует не в свое дело!

\*

На каждом шагу споры: быть или не быть войне. Число противников войны заметно растет во всех слоях населения. Даже многие поэты зачирикали по-иному.

\*

Удушливый воскресный полдень.

Любовно ощупывает и разглаживает морщины старушки-земли огнедышащее летнее солнце.

Зашла Лена.

Потацились пешком на Острова.

Забрели по пути в Ботанический сад.

Худосочный кривоногий солдатик с лицом хулигана и скандалиста в высоких желтых сапогах со шпорами, сопутствуемый толпой подростков, срывал у кустов и деревьев дощечки с латинскими обозначениями.

Старик в рыжем котелке, напоминающий «человека из ресторана», пытался его урезонивать.



Мы сели в лодку и скользим по заливу.

Над головами качается ослепительный яркий шар солнца, щедро разливая тепло и радость. Море, опьяненное солнцем, спокойно дремлет. Широкой сверкающей полосой оно убегает в призрачную даль.

Берег остается все дальше и дальше.

Я складываю весла к бортам и пересаживаюсь на скамейку, к Лене.

В теле сладкая усталость. Хочется молча ехать без конца.

Но Лена настроена иначе. Она все еще под впечатлением виденных в Ботаническом саду картин.

Она с типичной женской нелогичностью бранит «демократию», которая не умеет себя вести в общественных местах.

— Ты только подумай, — горячо апеллирует она ко мне. — Ботанический сад — этот цветущий, восхитительный уголок природы — обратили в свинной хлев, в свалку нечистот, в пустырь, на котором играют в городки...

— Лена, не кипятись! — говорю я шутя. — Ты не права...

— Как не права? Ты знаешь, Валерий, я не мещанка, не реакционерка, я на-днях даже вступаю в партию социалистов-революционеров, я приветствую освобождение народа и готова отдать себя на служение ему, но этот вандализм я никому простить не могу. Это ужасно дико!..

Я стараюсь говорить как можно спокойнее, хотя меня раздражает эта явно контрреволюционная философия.

— Лена! Нужно понять психологию солдата. Нельзя обвинять огульно. Я понимаю его. Твой прокурорский тон, милая, вовсе неуместен. Руководители революции и



пролетариата ценности в помойку не выкинут. Придет время, и сад уберут, вывески разрушенные поправят. Сейчас бушует стихия, вышедшая из берегов. Не до ботаники.

Лена обзывает меня дикарем.

Долго сидим молча. Я снова сажусь на весла.

\*

В Таврическом саду в нескольких шагах от дворца в кругу огромной толпы «артистического» вида босяк залихватски бренчит на балалайке и поет.

Про бывший царствующий дом отхватывает такие куплеты, что у женщин уши вянут.

Картинно изогнув фигуру, выпятив открытую, бронзовую от загара грудь, ворочая желтыми белками глаз, босяк резко-крикливым тенорком выводит:

Как у нашего царишки  
Очень маленький умишко.  
А наша матушка-царица —  
Точно с Невского девица...

Вслед за куплетами, дергаясь и вихляясь всем телом, он шумно бьет по струнам частым перебором и странно измененным, музыкально звенящим тембром выдыхает из гортани слова припева:

Ай да царь! Ай да царь!  
Кровопивец государь!  
Ай да царь! Ай да царь!  
Кровопивец государь!...

Дальше, конечно, про царских дочерей, про Анну Вырубову, про Гришку Распутина.



Солдаты бросают в шапку «артиста» мелочь, добродушно посмеиваются.

Вслух поощряют:

— Так их, братишка!..

— Катай, катай их, не стесняйся. Теперь и про царя можно — слобода.

Женщины при особенно сальных куплтеях стыдливо прикрывают лица прозрачно-газовыми шарфиками.

Мещаночки и старухи-няни испуганно качают головами и вздыхают:

— Господи милосливый! До чего дожили. Про самое царицу таки непристойности поют.

— Последни времена, видно, настали, о-хо-хо-хо.

— Угодники святые, молитесь всевышнего за нас, оканннх...

— А ну-ка спой ище, паренек, по пятакку дадим.

\*

Ехал на Выборгскую сторону.

Трамвай вдруг уперся в стену демонстрантов и остановился.

Стройные колонны пулеметчиков, измайловцев, гренадер, рабочих.

Музыка гремит марсельезой. Задние колонны поют «Варшавянку». Выскакиваю на мостовую.

— Куда, товарищи, идете?

— Смотри на плакаты. Не видишь?

Смущен. Не сообразил. Смотрю.

«Вся власть советам!»

«Долой министров-капиталистов!»

«Долой войну!»



Выбираюсь из затора человеческих тел, сажусь на извозчика, трясусь в свой полк.

На дворе казарм уже строятся колонны, чтобы итти демонстрировать.

Со склада выкатывают покрытые пылью пулеметы. Тащат цинки с патронами, пулеметные ленты.

Кто позвал на демонстрацию, неизвестно.

Плана демонстрации нет. Руководства нет. Но все, как один, рвутся на улицу.

Офицеры попрятались. Исчезли с горизонта и новоиспеченные прапорщики из фельдфебелей.

Часовой оружейного склада не хотел никого подпускать к замку, упирая на устав гарнизонной службы.

К часовому подбегает растрепанный солдат без фуражки, без пояса. Задорно командует:

— Именем революционного народа приказываю тебе: стойди прочь!..

Часовой неуверенно отвел в сторону штык.

— Бей замок, товарищи! Рви печать! Бери оружие— все наше!

Десятки человек бросились внутрь склада за оружием и патронами. В кого стрелять? Придется ли действовать оружием? Никто не знает. Вооружаются на всякий случай. Преображенцы отказались демонстрировать. Прислали делегацию уговаривать нас остаться в рамках «благоразумия».

Наши делегаты встретили их враждебно. Обругали «холопами». Пригрозили обстрелять казармы преображенцев, если они не выйдут на демонстрацию.

Выбрали из своей среды командиров. Разбились на отделения, на звенья.



Медь оркестра сверкнула на солнце и дрогнула мощным напевом марсельезы.

Под музыку, четко отбивая тяжелыми сапогами такт, по серому, покрытому рыхлой пылью булыжнику мостовой выходим за ворота.

— Правое плечо вперед! А-а-аарш!

Испепеляющий и бодрящий зной стоял над городом. Прокаленный июльским солнцем воздух казался осязаемым, густым и тяжелым.

На Литейном бурное человеческое море катило с величавой медлительностью бесконечные пестрые волны.

Как на параде, строго сохраняя равнение, сомкнутыми колоннами идут пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы, саперы, пулеметчики, самокатчики, связисты, матросы. Вперемежку с войсками шагают рабочие и работницы.

Влились и растворились в могучем потоке пропотевших и пыльных тел, пурпурно-красных знамен, оркестров, лошадей, моторов...

На остановках хватали своих командиров, членов ротных комитетов, и качали их, подбрасывая на уровень шелестящих красным шелком знамен.

До хрипоты пели марсельезу. Хочется новых, поднимающих и бодрящих песен, отражающих великие, неповторимые сдвиги души, песен, написанных в вихре восстаний, под звуки залпов, возвещающих о победе.

\*

Летняя белая, униженная прозрачными туманами петербургская ночь нависла над прямыми линиями гудящих железом, камнем и топотом улиц.